

ГАЛЯ ГАНСКАЯ

Художник и бывший моряк сидѣли на террасѣ парижскаго кафэ. Был апрѣль, и художник восхищался: как прекрасен Париж весной и как очаровательны парижанки в первых весенних костюмах.

— А в мои золотыя времена Париж весной был, конечно, еще прекраснѣе, — говорил он. — И не потому только, что я был молод, — сам Париж был совсѣм другой. Подумай: ни одного автомобиля. И развѣ так, как теперь, жил Париж!

— А мнѣ почему-то вспомнилась одесская весна, — сказал моряк. — Ты, как одессит, еще лучше меня знаешь всю ея совершенно особенную прелесть — это смѣшеніе уже горячаго солнца и морской еще зимней свѣжести, яркаго неба и весенних морских облаков. И в такіе дни весенняя женская нарядность на Дерибасовской...

Художник, раскуривая трубку, крикнул: «Garçon, un demi!» и живо обернулся к нему:

— Извини, я тебя перебил. Представь себе — говоря о Парижѣ, я тоже думал об Одессѣ. Ты совершенно прав, одесская весна дѣйствительно нѣчто особенное. Только я всегда вспоминаю как-то нераздѣльно парижскія весны и одесскія, онѣ у меня чередовались, ты вѣдь знаешь, как часто ѣздил я в тѣ времена в Париж весной... Помнишь Галю Ганскую? Ты видѣл ее гдѣ-то и говорил мнѣ, что никогда не встрѣчал прелестнѣй дѣвочки. Не помнишь? Но все равно. Я сейчас, заговорив о тогдашнем Парижѣ, думал как раз и о ней и о той веснѣ в Одессѣ, когда она впервые зашла ко мнѣ в ма-стерскую. Вѣроятно, у cadaго из нас найдется какое нибудь особенно дорогое любовное воспоминаніе или

какой-нибудь особенно тяжкій любовный грѣх. Так вот, Галя есть, кажется, самое прекрасное мое воспоминание и мой самый тяжкій грѣх, хотя, видит Бог, всетаки невольный. Теперь это дѣло столь давнее, что я могу рассказать тебѣ его с полной откровенностью...

Я знал ее еще подростком. Росла она без матери, при отцѣ, котораго мать давно бросила. Был он очень состоятельный человѣкъ, а по профессіи неудавшійся художник, любитель, как говорится, но такой страстный, что кромѣ живописи не интересовался ничѣм в мірѣ и всю жизнь занимался только тѣм, что стоял за мольбертом и загромождал свой дом — у него была усадьба в Отрадѣ — старыми и новыми картинами, скупая все, что ему нравилось, всюду, гдѣ возможно. Очень красивый был человѣкъ, дородный, высокій, с чудесной бронзовой бородой, полуполяк, полухохол, с повадками большого барина, гордый и изысканно-вѣжливыи, внутренне очень замкнутый, но дѣлавшій вид очень открытаго человѣка, особенно с нами: одно время мы, молодые одесскіе художники, гурьбой ходили к нему каждое воскресенье года два подряд, и он всегда встрѣчал нас с распростертыми объятіями, держался с нами, при всей разницѣ наших лѣт, совсѣм по товарищески, без конца говорил о живописи, угощал на славу. Галѣ было тогда лѣт тринадцать, четырнадцать, и мы восхищались ею, конечно, только как дѣвочкой: мила, рѣзва, граціозна была она на рѣдкость, личико с русыми локонами вдоль щек как у ангела, но так кокетлива, что отец однажды сказал нам, когда она вѣжала зачем-то к нему в мастерскую, что-то шепнула ему в ухо и тотчас выскочила вон:

— Ой, ой, что за дѣвченка растет у меня, друзья мои! Боюсь я за нее!

Потом, с грубостью молодости, мы как-то сразу и всѣ до одинаго, точно сговорившись, бросили ходить к нему, что-то надоѣло нам в Отрадѣ — вѣрно, его непрестанные разговоры об искусствѣ и о том, что он на-

конец открыл еще один замѣчательный секрет того, как надо писать. Я как раз в ту пору провел двѣ весны в Парижѣ, вообразил себя вторым Мопассаном по части любовных дѣл и, возвращаясь в Одессу, ходил пошлѣйшим шеголом: цилиндр, гороховое пальто до колѣн, кремовыя перчатки, полулаковые ботинки с пуговицами, удивительная тросточка, а к этому прибавь волнистые усы, тоже под Мопассана, и поведеніе с женщинами совершенно подлое. И вот иду я однажды в чудесный апрѣльскій день по Дерibasовской, перехожу Преображенскую и на углу, возлѣ кофейни Либмана, встрѣчаюсь вдруг с Галей. Помнишь пятиэтажный угловой дом, гдѣ была эта кофейня, — на углу Преображенской и Соборной площади, знаменитый тѣм, что весной, в солнечные дни, он почему-то всегда бывал унизан по карнизам скворцами и их щебетом? Мило и весело было это чрезвычайно. И вот представь себѣ: весна, всюду множество наряднаго, беззаботнаго и привѣтливаго народа, эти скворцы, сыплющіе немолчным щебетом точно каким-то солнечным дождем, — и Галя. И уже не подросток, не ангел, а удивительно хорошенькая тоненькая дѣвушка во всем новеньком, свѣтло-сѣром, весеннем. Личико под сѣрой шляпой на половину закрыто пепельной вуалькой и сквозь нее сияют аквамарины глаза. Ну, конечно, восклицанія, разспросы и упрёки: как вы всѣ забыли папу, как давно не были у нас! — Ах, да, говорю, так давно, что вы уже успѣли вырасти. Тотчас купил ей у оборванной дѣвченки букетик фіалок, она, с быстрой, благодарной улыбкой глазами тотчас нюхнула его. — Хотите присядем, хотите шоколаду? — С удовольствіем. — Подняла вуальку, пьет шоколад, празднично поглядывает и все спрашивает о Парижѣ, а я все гляжу на нее. — Папа работает с утра до вечера, а вы много работаете или все парижанками увлекаетесь? — Нѣтъ, больше не увлекаюсь, работаю и написал нѣсколько порядочных вещей. Хотите зайти ко мнѣ в мастерскую? Вам можно, вы же дочь художника и

живу я в двух шагах отсюда. — Ужасно обрадовалась: — Конечно, можно! И потом, я никогда не была ни в одной мастерской, кромѣ папиной! — Опустила вуальку, схватила зонтик, я беру ее под руку, она на ходу попадает мнѣ в ногу и смѣется. Галя, говорю, — вѣдь мнѣ можно называть вас Галей? — Быстро и серьезно отвѣчает: вам можно. — Галя, что с вами сдѣлалось? — А что? — Вы и всегда были прелестны, но теперь прелестны просто на удивленіе — Опять попадает в ногу и говорит не то шутя, не то серьезно: — Это еще что, то-ли будет! — Ты помнишь темную, узкую лѣстницу на мою вышку со двора? Тут она вдруг притихла, идет, шурша нижней шелковой юбочкой, и все оглядывается. В мастерскую вошла даже с нѣкоторым благоговѣніем, начала шепотом: ка-ак у вас тут хорошо, таинственно, какой страшно большой диван! и сколько картин вы написали! и все Париж... И стала ходить от картины к картинѣ с тихим восхищеніем, заставляя себя быть даже не в мѣру неторопливой, внимательной. Насмотрѣлась, вздохнула: да, сколько прекрасных вещей вы создали! — Хотите рюмочку портвейна и печеній? — Не знаю... Я взял у ней зонтик, бросил его на диван, взял ея ручку в лайковой бѣлой перчаткѣ: — можно поцѣловать? — Но я же в перчаткѣ... — Разстегнул перчатку, поцѣловал начало розовой ладони. Опустила вуальку, без выраженія смотрит сквозь нее аквамаринными глазами, тихо говорит: ну, мнѣ пора. Нѣтъ, говорю, сперва посидим немного, я вас еще не рассмотрѣл хорошенько. Сѣл и посадил ее к себѣ на колѣни, — знаешь эту восхитительную женскую тяжесть даже легеньких? Она как-то загадочно спрашивает: я вам нравлюсь? Посмотрѣл я на нее, посмотрѣл на фіалки, которыя она приколола к своей новенькой жакеткѣ, и даже засмѣялся от восхищенія: а вам, говорю, вот эти фіалки нравятся, ваш новенькій *tailleur* нравится? — Я не понимаю. — Что ж тут не понимать? Вот и вы вся такая же новенькая, как весь ваш весенній наряд и эти фіалки. —

Опустив глаза, смѣется: у нас в гимназіи такія сравненія барышень с разными цвѣтами называли писарскими. — Пусть так, но как же иначе сказать? — Не знаю... И слегка болтает висящими нарядными ножками, дѣтскія губки полуоткрыты, поблескивают... Поднял вуальку, отклонила голову, поцѣловал — еще немного стклонила. Пошел по скользкому шелковому чулку вверх, до застежки на нем, до резинки, отстегнул, поцѣловал теплое тѣло, потом опять в полуоткрытый ротик — стала чуть-чуть кусать мнѣ губы...

Моряк с усмѣшкой покачал головой:

— *Vieux satyre!*

— Не говори глупостей, — сказал художник. — Мнѣ все это очень больно вспоминать.

— Ну, хорошо, рассказывай дальше.

— Дальше было то, что я ее не видал цѣлый год. Однажды, тоже весной, пошел наконец в Отраду и был встрѣчен Ганским с такой трогательной радостью, что сгорѣл со стыда, как посвински мы его бросили. Очень постарѣл, в бородѣ серебрится, но все та же одушевленность в разговорах о живописи. С гордостью стал показывать мнѣ свои новыя работы — летят над какими-то голубыми дюнами огромные золотые лебеди — старается, бѣдняк, не отстать от вѣка. Я вру напропалую: чудесно, чудесно, большой шаг вперед вы сдѣлали! Крѣпитя, но сияет как мальчик. — Ну, очень рад, очень рад, а теперь завтракать! — А гдѣ дочка? — Уѣхала в город. Вы ее не узнаете! Не дѣвочка, а уже дѣвушка, и, главное, совсѣм, совсѣм другая: выросла, вытянулась, як та топóля. — Вот не повезло, думаю, я и пошел-то к старику только потому, что ужасно захотѣлось видѣть ее, и вот, как нарочно, она в городѣ. Позавтракал, расцѣловал мягкую душистую бороду, наобѣщал быть непременно в слѣдующее воскресенье, вышел — а навстрѣчу мнѣ она. Радостно остановилась: вы? какими судьбами? были у папы? ах, как я рада! — А я еще больше, говорю, папа мнѣ сказал, что вас теперь и

узнать нельзя, уже не тополек, а цѣлый тополь, — так оно и есть. — И дѣйствительно так: даже как будто и не барышня, а молоденькая женщина. Улыбается и вертит на плечѣ раскрытым зонтиком. Зонтик бѣлый, кружевной платьѣ и большая шляпа тоже бѣлая, кружевная, волосы сбоку шляпки с прекраснѣйшим рыжим оттѣнком, в глазах что-то слегка заносчивое, польское... — Да, я ростом даже немножко выше вас. — Я только качаю головой: правда, правда... Пройдемся, говорю, к морю. — Пройдемся. — Пошли между садами переулком, вижу, все время чувствует, что, говоря что попало, я не свожу с нея глаз. Идет, стройно поводя плечами, зонтик закрыла, лѣвой рукой держит кружевную юбку. Вышли на обрыв — подуло свѣжим вѣтром. Сады уже одѣваются, млѣют под солнцем, а море точно сѣверное, ледяное, заворачивает крутой зеленой волной, все в барашках, вдали тонет в сизой мути, одним словом Понт Эвксинскій. Замолчали, стоим, смотрим и будто чего-то ждем, она, очевидно, думает то же, что и я, — как она сидѣла у меня на колѣнях год тому назад. Я взял ее за талию и так сильно прижал всю к себѣ, что она выгнулась, ловлю губы — старается высвободиться, вертит головой, уклоняется и вдруг сдается, дает мнѣ их. И все это молча — ни я ни она ни звука. Потом вдруг вырвалась и, оправляя шляпку, просто и убѣжденно говорит:

— Ах, какой вы негодяй. Какой негодяй.

Повернулась и, не оборачиваясь, скоро пошла по переулку.

— Да было у вас тогда в мастерской что-нибудь или нѣтъ? — спросил моряк.

— До конца не было. Цѣловались ужасно, но тогда меня жалость взяла: вся раскраснѣлась, вся растрепалась, и вижу, что уже не владѣет собой совѣм подѣтски — и страшно и ужасно хочется этого страшного. Стал цѣловать ручки, успокаивать...

— Но как же послѣ этого ты цѣлый год не видал ее?

— А черт его знает, как. Боялся, должно быть, что во второй раз не пожалѣю. Но погоди, да* уж все до конца расскажу. Не видал я ее еще с полгода. Прошло лѣто, стали все возвращаться с дач, хотя тут-то бы и жить на дачѣ — эта бессарабская осень нѣчто божественное по спокойствію однообразных жарких дней, по ясности воздуха, по красотѣ ровной синевы моря и сухой желтизны кукурузных полей. Вернулся с дачи и я, иду раз опять мимо Либмана — и, представь себѣ, опять навстрѣчу она. Подходит ко мнѣ как ни в чем не бывало и начинает хохотать, очаровательно кривя рот: «Вот роковое мѣсто, опять Либман!»

— Что это вы такая веселая? Страшно рад вас видѣть, но что с вами?

— Не знаю. Послѣ моря все время ног под собой не чую от удовольствія бѣгать по городу. Загорѣла и еще вытянулась — правда?

Смотрю — правда и, главное, такая веселость и свобода в разговорѣ, в смѣхѣ и во всем обращеніи, точно замуж вышла. И вдруг говорит:

— У вас еще есть портвейн и печенья?

— Есть.

— Я опять хочу смотрѣть вашу мастерскую. Можно?

— Господи Боже мой! Еще бы!

— Ну, так идем! И быстро, быстро!

На лѣстницѣ я ее поймал, она опять выгнула талію, опять замотала головой, но без большого сопротивленія. Я довел ее до мастерской, цѣлуя в закинутое лицо. В мастерской таинственно зашептала:

— Но послушайте, вѣдь это же безуміе... Я с ума сошла...

А сама уже сдернула соломенную шляпку и бросила ее в кресло. Рыжеватые волосы подняты на макушку и заколоты черепаховым стоячим гребнем, на лбу подвигая челка, лицо в легком ровном загарѣ, глаза глядят ярко и бессмысленно... Я стал как попало раздѣвать ее,

она поспѣшно стала помогать мнѣ... Когда я звѣрски сбросил ее на подушки дивана, глаза у ней почернѣли и еще больше расширились, губы горячечно раскрылись — как сейчас все это вижу, страстна она была необыкновенно... Но оставим это. Вот что случилось недѣли через двѣ, в теченіи которых она чуть не каждый день бывала у меня. Неожиданно вбѣгает она однажды ко мнѣ утром и прямо с порога:

— Ты, говорят, на днях в Италію уѣзжаешь?

— Да. Так что ж с того?

— Почему же ты не сказал мнѣ об этом ни слова? Хотѣл тайком уѣхать?

— Бог с тобой. Как раз нынче собирался пойти к вам и сказать.

— При папѣ? Почему не мнѣ наединѣ? Нѣтъ, ты никуда не поѣдешь!

Я подурачки вспыхнул:

— Нѣтъ, поѣду.

— Нѣтъ, не поѣдешь.

— А я тебѣ говорю, что поѣду.

— Это твое послѣднее слово?

— Послѣднее. Но пойми, что я вернусь через какой-нибудь мѣсяц, много через полтора. И вообще, послушай, Галя...

— Я вам не Галя. Я вас теперь поняла — все, все поняла! И если бы вы сейчас стали клясться мнѣ, что вы никуда и никогда во вѣки не поѣдете, мнѣ теперь все равно. Дѣло уже не в том!

И, распахнув дверь, с размаху хлопнула ею и зачастила каблучками вниз по лѣстницѣ. Я хотѣл кинуться к ней, но удержался: нѣтъ, пусть придет в себя, вечером отправлюсь в Отраду, скажу, что не хочу огорчать ее, в Италію не ѣду, и мы помиримся. Но часов в пять вдруг быстро входит ко мнѣ с дикими глазами художник Синани:

— Ты знаешь — у Ганского дочь отравилась! На смерть! Чѣм-то, чорт его знает, рѣдким, молніеносным,

стащила что-то у отца — помнишь, этот старый идиот показывал нам цѣлый шкапчик с ядами, воображая себя Леонардо-да-Винчи. Вот сумасшедшій народ, эти проклятые поляки и польки! Что с ней вдруг случилось — никому непостижимо. Отец говорит, что он поражен как громом с яснаго неба...

— Я хотѣл застрѣлиться, — тихо сказал художник, помолчав и набивая трубку. — Чуть с ума не сошел...

Ив. Бунин